

Николай Боровой

Прозаические опыты



Николай Боровой

Прозаические опыты

«Издательские решения»

Боровой Н. А.

Прозаические опыты / Н. А. Боровой — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-504738-0

Настоящая книга представляет читателю сборник небольших прозаических произведений разных лет, затрагивающих вопросы, которые не просто неотступно сопровождают, но так или иначе определяют нашу жизнь.

ISBN 978-5-00-504738-0

© Боровой Н. А.
© Издательские решения

Содержание

СМЕРТЬ АМИРА КОЭНА	6
МОЙ ПУТЬ. МЫСЛИ ВРАЧА	14
ПОДИ ЗНАЙ...	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Прозаические опыты

Николай Андреевич Боровой

© Николай Андреевич Боровой, 2019

ISBN 978-5-0050-4738-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Надо будет ему возразить так, – решил Берлиоз, – да, человек смертен, никто против этого и не спорит. А дело в том, что...»

Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:

– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.

Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!

И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

М. Булгаков, «Мастер и Маргарита».

СМЕРТЬ АМИРА КОЭНА

Трудный выдался день, неприятный... дрянный день... при мысленном подведении итогов, «ле азазель»¹ так и мялось на языке... «йом ло наим бихлаль»², мысленно пошутилось... Когда нужно часами выпивать ушаты лицемерия, и все напрасно, поскольку дело не движется – мало приятного... Этот глава рабочего комитета – еще та мразь... корчит праведника... слушаешь его завывания о «судьбе людей, которые отдали фабрике десятки лет жизни, коль нешматам ве аводатам»³, а сейчас «должны остаться без куска хлеба, без возможности повезти детей отдохнуть», и не знаешь, как суметь скрыть за маской желание сплюнуть и горечь во рту... Правильно играет, конечно, хоть и банально... но для дела, для его дела, не все ли равно? Хотя так заигрывается, что удерживаешься с трудом... «он никогда не даст», «через его труп», «он едет в Иерусалим, в министерстве примут его доводы»... езжай, езжай... я знаю цену твоим позам и твоим доводам... в эрев шабат⁴, в пабе на тель-авивской набережной, мне ее точно называли... арака и закрытие старых счетов развязывают язык... иногда счет лежит годами, и меняешь его всего на несколько слов, но стоит того... Мне точно сказали, сколько и как... точно... те, кто с тобой работал... сказали как, описали все твои позы...

При воспоминании о полуденной беседе злая улыбка разлилась по губам Амира – он соотнес позы и прокламации с тем, что рассказал ему в эрев шабат Шуки – как этот самый «грузини а-масриях»⁵, который возглавляет рабочий комитет фабрики, три года назад на неограниченный кредит играл в казино в Варне, три дня подряд играл, почти не выходил, и ведь играть-то не умел... как ему шлюх возили... почти сразу, после окончания забастовки... рабочий комитет тогда принял очень многие требования хозяев, «во имя спасения фабрики», «общего дела»... праведник... радатель прав трудящихся... Тут Амир не удержался и сплюнул в открытое окно джипа... Грамотно ведет себя, дрянный... хорошо набивает цену... Предсказуемо... Просто он так изошелся в истерике, что не понятно, сколько это продлится, и не заломит ли слишком много... обычно – полпроцента от суммы, сэкономленной на первоначальных требованиях, плюс «бонус», то есть Варна или что-то в этом роде... это только звучит «полпроцента», а речь то – о сотнях тысяч... не ему одному, конечно...

Амир закусил губу, думая... Грузин может ведь и вправду «заиграться», поехать в министерство, начать заходить в кабинеты и стучать по столам, заработает машина и дело затянется, а дело ведь серьезное... и цену в конце заломит, обнаглев, и время тянуть слишком нельзя, шум и вой уже подняли, потянешь – вообще все сорвется...

Подходящий к концу летний, тяжелый для Амира день, прощался с ним, заставляя лак его джипа играть в лучах солнца на подъезде к Твери...

Дорога была пуста, ничто не мешало думать... работать головой, просчитывать... для чего бог дал тебе голову? Думай... Поначалу, этот человек даже смог его убедить, а потому – очень серьезно, по-настоящему испугать... Амиру показалось, что дурная удача столкнула его и вправду с тем фанатиком профсоюзного дела, которые пару раз попадались ему на пути... такого можно не переломить, а значит – план реструктуризации провести не удастся, а это может пустить все начинание, всю прекрасно разработанную задумку под откос... проблема... он тогда не стал лезть напролом, отступился, начал осторожно интересоваться, собирать

¹ К черту (здесь и далее – иврит)

² День вообще не приятный – отсыл к знаменитому выражению Голды Меир.

³ Всю душу и весь труд

⁴ Вечер наступления субботы, вечер пятницы

⁵ «вонючий грузин» – принятый в площадной ивритской речи ксенофобский фразеологизм

информацию, искать подходы... поднял все старые связи, задергал за ниточки, которые уже давно покрылись пылью, встряхнул все старые векселя... И не напрасно... В последний эрэв шабат человек, на которого он очень полагается, рассказал ему, что представляет собой «непримиримый борец за права трудящихся», и сколько этот «борец» стоит... вся эта непримиримость «старого пальмахника»⁶, вся эта «оборона Гиват-а-Тахмошет»⁷, яростные речи на собрании рабочих – все это поза, очень умелая... Полюбовное соглашение возможно, есть условия, просто этому соглашению предшествует прелюдия... Шуки подробно рассказал ему, как решились несколько подобных ситуаций с этим человеком три года назад и еще ранее... В другое время Амир и сам бы был не прочь поиграть, но в этот раз дело не ждет.. Во время сегодняшней встречи он попытался сразу пойти если не напролом, то по крайней мере – к делу, к цели, попробовал сократить дистанцию... и нарвался на резкое обострение конфликта, на еще более непримиримую позицию... По началу – даже испугался, на какой-то момент засомневался в Шуки, подумал, что этот знакомый ему еще с университетских времен прохвост просто очень захотел закрыть один свой старый вексель и дал ему ложную информацию, чего раньше не случалось... Потом, вспомнил все свои дела с Шуки – тот ни разу его не подводил – успокоился, и пришел к выводу, что грузин – большой мудрец... в таких делах и правда – вся приличия и церемонии должны быть выдержаны и оттанцованы, до последнего... по крайней мере, если бесстыдный воришка и взяточник хочет продолжить делать карьеру «настоящего профсоюзного борца»... думая об этом, Амир чуть оскабился... нет, он умел оценить хорошего игрока, он и сам, как уже много лет говорят, «не дурен в деле»... нет, нет, все правильно... просто теперь главное все точно продумать и просчитать... В Тель-Авив ехать нет уже ни сил, ни времени, жена перебьется, утром с детьми разберется сама... В Тверию, снять номер, душ, поесть, отоспаться, на завтра – в Тель-Авив, в главный офис, описать ситуацию, все просчитать, выработать шаги... Амир Коэн – адвокат, юрисконсульт финансово-промышленной группы, в расцвете карьеры... Группа пытается купить фабрику на севере страны, фабрика на грани банкротства, и особого выхода у ее хозяев нет... потенциал там очевидный, все просчитано... все «ашкаот»⁸ окупятся года за три... Глубина кризиса на фабрике – это его личное, Амира, изобретение, спущенное в прессу... если «кризис» – пусть меньше корячатся... Проблема, как всегда, не в хозяевах... те будут не против избавиться от дела, которым не умели управлять... Нужно уволить триста человек... вот в чем проблема... Кажется, не много, но в условиях севера – очень много... работы там и так нет... Ну, уволить триста – это конечно в идеале, реальная программа от идеальной далека, это – для начала «торга» с рабочим комитетом... есть несколько вариантов, на одном из которых все в конечном итоге остановится, вопрос в цене... Цену этого уroda он в Тель-Авиве, в эрэв шабат узнал... и главное – быстро надо все сделать, не дать слишком разгореться шумихе, если влезет министерство – проблема.

Амир – не просто адвокат... он тот, кого называют «махер»⁹... человек связей... он знает, как выглядит нужная дверь, знает номер кабинета, знает, как разговаривать с тем, кто в этом кабинете сидит... ему доверяют, знают, он – батуах ле матаим ахуз¹⁰, от него не утечет... ему доводилось оформлять разрешения на запрещенную застройку... на месте пустырей, накапливающих пыль, утесов с сосенками поднимались небоскребы... Без его, Амира, встреч, бесед, пожатий руки нужным людям – они бы не поднялись, не встали... Как только не честят, не клеймят людей его рода занятий эти цепные собаки из СМИ... закон... При этих воспомин-

⁶ «Пальмах» – легендарное подразделение самообороны времен войны 1948 года.

⁷ Одно из известных сражений времен Шестидневной войны.

⁸ капиталовложения

⁹ Грязный делец, посредник в сомнительных делишках

¹⁰ Достоин доверия на двести процентов

наниях лицо Амира скривилось зло, саркастично, будто ему после рюмки арака попался особенно кислый лимон... закон... клоуны... знали бы вы, сколько стоит «закон»... как на протяжении десятилетий в этой стране все это делается... он просто встроился в систему, не он ее придумал, и не он создал... что он делает плохого? Что плохого в том, что были вложены деньги, которые заработали тысячи людей, что ненужные, пустующие из-за глупости правил места, превратились в здания с десятками этажей? Что он делает плохого? Чья вина, что в этой стране законы мешают правильному делу? Чья вина, что сотни пиявок используют протокол для того, что бы бизнес-проект лежал в конторском столе многие годы? Он просто помогает лить масло на заржавевший от старости и плохого ухода механизм... Такие люди как он – настоящие двигатели прогресса, важных дел... без них – никуда... проекты, которые лежат в столах годами, они выводят в разработку за пару месяцев... и все, что они берут за это – положено им. Да, вот именно так. Положено. Правда, не всегда все было так благообразно... «на благо нации и общества»... (при этих мыслях Амир снова зло и саркастично улыбнулся в лицо вечернему солнцу и искрящемуся Кинерету). Когда времена были совсем тяжелые, он сводил попавших на «дело» в налоговой инспекции бизнесменов с тем чиновником в центральном управлении, в Тель-Авиве, от подписи которого зависело, закрыто ли будет дело, или пойдет в разработку, «по маршруту»... доводилось решать дела и на таможне, освобождать арестованные грузы... Тут бывал серьезный доход... бывал – очень серьезный... настоящий навар... но и риск – велик. Пять лет уже у Амира работа с «крахмальными рукавами», и вот сейчас, в этих самых рукавах, он должен решить дело с рабочим комитетом, и быстро... и в разумных пределах... так, чтобы этому вонючему грузину не захотелось вместо Варны сыграть в Праге или еще где-нибудь подальше...

Амир – ушлый адвокат, хороший «махер»... дела идут, все хорошо... и шикарная черная «Тойота» отливает в лучах солнца... «дэгэм ле ацлаха исраэлит»¹¹ – как всегда они смеются с друзьями молодости, когда удастся посидеть вечером, в пабе на набережной, и выпить не «Хеннеси», не десятилетний «Кармель Шираз», как любят его боссы после наваристой сделки, а по старинке – араку... При воспоминании о последнем вечере субботы он удовлетворенно хмыкнул – Шуки дал ему ключ к решению его дела, и теперь все сложится, надо только терпеливо продумать все... хорошо-то хорошо, но как дела обстоят, знает только хозяин счета в банке... хорошо... только он знает, чего ему стоил новый, в прошлом году купленный дом в Рамат-а-Шароне... да и года с пол назад «нашли» его, подловили на старом деле, не слишком в свое время «гладко» обделанном... всплыли следы, пришлось откупаться... При воспоминании зубы как-то сразу закрипели – он заплатил много... и главное – там можно было попытаться поиграть, задавить, сбить цену, или вообще «слезть», но это риск, опасность скандала, и времени не было на это, пришлось платить... Так что очень нужно ему все быстро кончить с фабрикой, получить чек, закрыть дыру... хорошо-то, хорошо... но он помнит, какая доля мгновения между «очень хорошо» и «очень плохо»... он не знает, кому больше нужно закончить дело быстрее – ему, или его боссам...

Трудный был день... не только в фабрике дело... все началось еще с утра... да, если вдуматься, жена – это то, что тревожит не меньше... черт... жена... порода есть порода... надо было смотреть и думать... чем станет марокканка в сорок лет – не трудно было понять и тогда... мать-покойница, благословенна память, говорила, но робко, не решалась, боялась что отец, большой либерал, «здесь все евреи», прогрохочет грозно, выкатив глаза – гизанит¹²... эх, мама-мамочка, говорила бы ты громче, глядишь... ну, а теперь – что?... теперь ужас, кошмар... «ле азазель», ведь и вправду ужас и кошмар, нельзя этого больше терпеть!! Хочешь терпеть – не можешь, нельзя, сил больше нет!... Вот так вспомнишь о возвращении домой – тош-

¹¹ Пример израильского успеха

¹² Ксенофобка, расистка.

нота, сосет где-то под грудью... от недавних ощущений чуть не закричалось, не заплакалось в ярости... жена... царица Беэр-Шевы... да и вправду была королева... кожа – сладкий бархат, волосы длинные, черные, улыбка, лицо красивое, и совсем не дура... работающая, цепкая – такой дом доверить не грех... на горло всегда любила давить, да что – у кого то по-другому? Да и по молодости как-то все мимо проходило, не задевало, а после сорока – все стало страшно... нет – ведь правда страшно – террор... просто террор, террор... языком, воплями – хуже чем араб с ножом... Наглая стала... еще пару лет назад знала меру – а тут просто откровенный террор, просто ест, холодно, разумно, хоть и визжит... Сегодня дом начал трястись через четверть часа после того, как она встала, загремела на кухне, а ведь знала же, знала дрянь, что тяжелый будет день, что дети, когда слышат, боятся из комнаты выходить... а в последнее время – стали орать как она... При одном воспоминании об утреннем скандале, о лице жены, о том, как невзирая на истерику, она холодно смотрела на него, словно расчетливо била и била ножом в одно место, Амир и сам не заметил, как шандарахнул по рулю обеими руками и выругался по-арабски, грязно... да, никогда любви большой не было... какая-токая «любовь»... поначалу – ну, как у всех... Потом – привычка, дети пошли... Бывало много раз, когда и вправду можно было ей хоть что-то рассказать, хоть часть страха с души снять, чувствовалось, что не предаст, просто даже из разумных мотивов – не предаст, поможет... а за это, всякий скажет – можно очень много стерпеть... Но что она превратится в такого откровенного врага... будет выдирать из глотки, что хочется, не задумываясь о средствах, о цене, о том, что в доме происходит... кто мог знать... ад... повседневный ад... привычный, изо дня в день... тов¹³, ладно, нельзя об этом сейчас думать, хватит! О другом нужно думать, о деле... Амир включил новости, но успел только услышать прогноз погоды, в Тверии завтра – 42... Ну, да он рано уедет, когда над Кинеретом еще густая дымка, не почувствует... хотя в Тель-Авиве будет не намного прохладнее...

Дорога подошла к Тверии, к крутому спуску... Амир привычно перевел скорость и начал сдавать на тормозах... по крайней мере – так ему показалось... дорога была пуста, мысли лились своим чередом, независимо от воли... что произошло дальше – он почти не успел понять, только от неожиданности, лихорадочности происходящего, успел лишь снова заорать по-арабски... Пока он думал, он не заметил, что машина вопреки всему скорости не сбавила, а напротив, начав спуск, разогналась... Машина тормозов не послушалась, и понеслась по крутому серпантину, набирая скорость, на первом же витке ее страшно занесло, почти повалило. Амир сначала не понял, аж глаза раскрыл от изумления, подумал – перепутал с усталости что-то, надавил на тормоз, и понял – ТОРМОЗА НЕ РАБОТАЮТ... Пару раз еще долбанул по педали, вмял ее в днище – не работают... Нет тормозов... На дурную его удачу джип был еще и гружен... Машина вылетела на прямой кусок дороги, неслась страшно, впереди, метров сто пятьдесят, замаячил крутой поворот, за ним, с обрыва виднелся город в лучах заката... Быстро все случилось... От неожиданности, в панике, Амиру не пришло в голову выключить мотор, попытаться остановиться на ручнике, он подумал – единственное, что можно сделать – «потереть» машину об ограждение трассы... это и решило все. Джип заскрежетал адски, заискрил, с мясом выворотило дверь, а потом, видать, уткнулся во что-то капотом... Может, в какой-то выступ скалы, в изгиб ограждения... Только от страшного удара его развернуло багажником, и дальше, багажником, он перелетел на другую сторону трассы, ударившись об основание рекламного столба, надломился пополам с правой стороны, силой инерции перевернулся, перелетел через ограждение другой стороны трассы и начал сползать в пропасть, в обрыв... всего этого Амир не видел... от первого удара его грудью вдавило в руль, от второго – он въехал спиной в кресло так, что голова, чуть не переломив шею, мотнулась назад, челюсть сомкнулась, лязгнула и впиалась в язык... под грудью засосало, все оборвалось куда-то, сперло дыхание, потемнело в глазах...

¹³ Хорошо, ладно.

Когда он очнулся, увидел – подушка справа сработала, может это и спасло его во время кувыркания машины... Первое, что он почувствовал – дикую боль во рту и удушие от какого-то и соленого, и горького, липкого комка в горле. Выплюнув кровь, судорожно глотая воздух, стоная от боли, он начал потихоньку сознать, что происходит, пытаться понять... Жив, уже хорошо... какая может быть еще первая мысль... боль страшная, челюстью, языком – не пошевелить... крикнуть не получится... попробовал – чуть не потерял сознание от боли, от хлынувшей крови... спокойно, спокойно – если жив, значит все будет в порядке... Наверняка, кто-то видел... да, конечно – сквозь гудение в ушах, и тошноту, и полубморок, слышались ему голоса где-то сверху, кричащие «позвонить в маген давид», в «службу спасения»... Точно, все нормально, меня вытащат... где я, «ле азазель», что происходит... Джип лежал на левом боку, сильно наклонившись вперед... переднее стекло, все смятое, большей частью отошло... смеркалось, да и в глазах было темно, и блики какие-то, то ли желтые, то ли черные, все время проплывали перед глазами, и трудно что-то было увидеть и понять, но Амир попробовал... спереди была видна пропасть... Амир не понял сначала, как это возможно – вроде бы джип лежит на скале, а впереди пропасть, виднеется Кинерет, кусочек города... минуту отдышавшись, собравшись, Амир начал думать, и картина ему показалась такой – джип, наверное, начал катиться, сползать в пропасть, но, видимо, запнулся о какой-то порог, о какой-то выступ скалы... ему вдруг воочию представилось, что значит – **ВИСЕТЬ НА КРАЮ ПРОПАСТИ**... Ему представилась покореженная машина, зацепившаяся на уступе скалы, капотом наклоненная в пропасть... и он внутри... Когда он понял это, когда он понял, что это *он* внутри, что это происходит *с ним*, что *это он* **ВИСИТ НА КРАЮ ПРОПАСТИ**, и стоит лишь чуть качнуться, чуть двинуться, и он сорвется вниз, его пробрал холод какого-то невообразимого, невыразимого ни словами, ни криком ужаса... он даже крикнуть не смог, у него сперло дыхание, крик застрял то ли в горле, то ли в груди... он вдруг физически почувствовал, что такое лететь в бездну... что такое нестись на встречу приближающейся земле, представил, что еще секунда, может, еще метр – и он летит вниз... И **ВСЕ**... как все... **КАК ВСЕ??? ЧТО ВСЕ???? ВСЕ???** Все, ничего не будет больше.. *его не будет*... смысл этого «не будет», вдруг, впервые за всю жизнь, наверное, стал ему ясен, ошутим физически... ужас, невыразимый, холодный, липкий, спер дыхание, заставил его задергаться, попытаться встать, хватать рукой воздух, и джип от этого чуть подвинулся, от чего Амир, если бы мог завизжать подетски – завизжал бы... его глаза смотрели в неспешно наливающуюся темнотой пропасть... он вдруг почему-то ясно, несомненно понял – это *случится*, вот сейчас случится, *будет*... джип не удержится, его не успеют спасти... *это будет*... как мог он собраться с мыслями, с духом – попытался собраться, сказал себе – яа, хабиби, аколь йигье беседер, азов, шток¹⁴, сверху люди, ты слышишь, тебя спасают, уже сейчас спасают, все будет нормально, они успеют, ты будешь жить... Почему-то вдруг промелькнула в мыслях жена, которая, наверное, скоро будет пытаться дозвониться ему на мобильный... а потом взглянул вниз, в пропасть... и снова ужас, холодный, пробрал его и дал понять – нет... *ничего больше не будет – дальше пропасть... она тебя ждет – там конец всему*... **ВСЕ, КОНЕЦ, БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ... ВСЕ, ВСЕ...** Он видел это «все», он чувствовал его дрожью в руках и челюсти, холодом и какой-то бездной то ли в груди, то ли в животе... **ВСЕ... ВСЕ...** смысл этого «все» вдруг стал ему так ясен и так жуток, что дыхание снова сперло... от ужаса, побуждающего задышаться, вытягивать шею и беспомощно ловить ртом воздух, крикнуть что-то, биться судорожно ногами и руками, куда-то бежать, а может от страшного удара грудью и головой, совсем он обезумел, в мелькающих перед его мысленным взором картинах плясали жена, грузин-взяточник, почему-то – распечатки банковского счета, одноклассница, с которой он месяц назад переспал и с тех пор не созвонился, от стыда, жена, дочка его младшая... жена, старшая дочка, орущая на мать

¹⁴ Эй, приятель, все будет в порядке, оставь, замолчи. (смесь арабского и иврита)

совсем, как мать на него, жена... теща. Не глаза – щели, стиснутые губы, взгляд судьи, чеканное карканье, каждое слово – приговор... как булыжник, которым медленно, с толком бьют по голове... тварь... босс... отпуск в Греции, на Пелопонесе... там тоже была пропасть... красивая, поросшая густым сосновым лесом, а внизу вилась река... снова жена, младшая дочка, которая смотрится в зеркале в новом карнавальном платице на последний Пурим... папочка – а где моя сумочка, с чем я пойду на праздник?.. доченька... она что-то такое спрашивала меня на днях... что-то... спрашивала, дочка... *папочка, а что это такое, что я умру?*... При воспоминании об этом Амиру вдруг показалось, что это он смотрит детскими глазками, спрашивает – *папочка, а что значит, что я умру?*.. ответ был ясен – пропасть темнела, смотрела ему в глаза и неслась где-то вопль – ВСЕ... ВСЕ... Пропасть смотрела на Амира, словно говорила ему – «сейчас», «сейчас», но все не наступала, и ужас от этой глядящей ему в лицо, глумящейся над ним пропасти, в которую, он чувствовал, ползет джип, душил его, заставлял его сдавливать горло в безумном крике, как в агонии совершать какие-то движения руками и ногами, и главное – нельзя было ничего сделать... Кричать не выходило, двинуться было страшно, джип и так полз куда-то вниз, и пропасть наступала медленно... «папочка, что значит, что я умру»... он это спрашивал, а не его дочь... он вдруг вспомнил, что когда-то так же смотрел на мать снизу вверх, спрашивал ее о чем-то... об этом?.. нет... он шкурой вдруг снова почувствовал себя ребенком... нет, было!!!! Не тогда, позже, но было!!!! Позже, лет в двенадцать он это почувствовал... тогда ночью, он не мог заснуть, остался один в комнате, и вдруг почувствовал, ощутил напрягшейся спиной, что когда-то будет миг, *когда его больше не будет*... не будет... не будет... никогда не будет... *что-то будет, а его – не будет*... так же, вспомнилось, он тогда вскочил, задыхаясь, с кровати, перелетел через комнату к двери, закричал на выдохе, по-девчачьи «мамочка»... несколько секунд душило, потом прошло.... Потом забылось... еще раз было лет в 17, или в 18... несколько раз было... так же – душный, липкий ужас, крик «мамочка», детский, растерянный, беспомощный, глаза вылазят, безмолвный плач.... Потом мысль – *ну, это еще ведь не сейчас, еще не сейчас, еще нет*... потом проходит... потом снова настигнет, накатит... подумаешь, решишься вдруг увидеть неотвратимое, от чего не убежишь, не спасешься – *тебя не будет*, и ужас спирает дыхание, заставляет вытягивать шею и хватать ртом воздух, кричать по-детски «мамочка» – от отчаяния и беспомощности, и словно все рушится, переворачивается, пробирает холод, в глазах темнеет... и только одно унимает, успокаивает этот ужас – мысль, что *еще не сейчас, не сейчас*... и что делать с этим, как жить... ведь думай – не думай, хочешь – не хочешь, а *будет*, рано или поздно *предстоит это*... что же – просто просмотреть жизнь как кино, пролистать ее, чем-то занимаясь, а после – сгинути, бесследно исчезнуть, словно и не было тебя никогда, безразлично уйти в небытие, уступив место новым участникам бессмысленного карнавала?.. Как же жить так – просто ожидая смерти, пока свершится неотвратимое... сознавать эту судьбу, ужасаться ей, видеть, как изо дня в день она приближается, наступает, и ничего не делать, не пытаться восстать, «оспорить» как-то, «просто жить», ждать... *как же жить так, зачем тогда все, что тогда имеет смысл?* Как же просто ожидать того, что уже сейчас, в самом начале пути, когда все еще далеко, очень далеко вызывает *ужас*, как же не видеть, не думать, или видя, быть безразличным и просто ждать, ничего не пытаться сделать... Тогда, вместе со всеми этими мыслями и тайными ночными мучениями, начала забирать его отчаянная тоска, будто противно и бессмысленно все вокруг... не мог он терпеть этого мучительного, отчаянного чувства бессмысленности и отвратительности всего происходящего, каждого дня... перед самым завершением школы, будучи на хорошем счету, начал сбегать с уроков, бродить где-то, бежать от одиночества... не было сил влачить привычную жизнь, просто что-то делать, как ни в чем не бывало, строить какие-то планы, не видеть, не думать и не сознавать *этого*... будто ничего не происходит... а думать и видеть было *страшно*... сознавать истинный и трагический смысл происходящего посреди привычных жизненных обстоятельств было мучительно, спирало дыхание, нельзя было жить

так... тогда же он свел знакомство с соседскими парнями из восточных семей, они и приучили его пить арак... чуден он был себе во всех его переживаниях, мучениях, страхах, чуден себе и чужд всем вокруг, ибо видел – не волнует их это, они просто не думают об этом, не видят очевидного... ну как же это, как жить так, у кого спросить? Неужели никто из старших не решил это когда-то для себя, не думал... к матери тогда не пошел... пошел к отцу... хотел понять – он никогда этими приступами ужаса не мучался? Он – как решил для себя, *что делать со смертью?* Будет ведь... хочешь – не хочешь... Как то, после кабалат шабат¹⁵, они с отцом гуляли от синагоги домой... не слишком отец был набожен, но синагогу, бывало, посещал... и он не сразу, но решился спросить – *папа, ты когда-нибудь боялся смерти?* Отец тогда страшно рассердился, и страшно, хоть наступила святая суббота, наорал на него, сказал, что это большой грех так думать, что смерти не надо бояться, что после смерти праведный еврей, исполнявший мицвот¹⁶, приближается к Творцу Мира, что у каждого еврея есть доля в «олам оба»¹⁷.... После этого боялся даже подумать, а потом и забылось, и расхотелось... Кто о таком думает, ну в самом деле, да и зачем думать... да и когда... да и если решишься спросить кого-то – покрутят у виска, посмотрят саркастично, ты что, мол, мажнун¹⁸?... «Все люди когда-нибудь умрут»... улыбка издевательства... «ты лучше скажи куда летом со своей планируешь ехать»... По отцовским стопам он не пошел, но о смерти думать расхотелось... ответ был найден – *это* не было тем, о чем надо думать, думать надо было о жизни, делать то, что требуют, надо было строить жизнь, бороться за место под солнцем, что бы все было «не хуже», чем у других, «у всех»... начисто забылся этот короткий, но страшный юношеский опыт, будто *не он это был, и не с ним случилось*... Перед глазами мелькала армия... поездки, учеба... первые «дела»... квартира первая... как он рисковал тогда, что бы на нее заработать... королева Беер-Шевы... мама умерла, когда он был на стажировке в Нью-Йорке... смерти отца он тоже не видел, только успел на похороны, но когда перед погребением, по обычаю, пригласили взглянуть на лицо умершего, он испугался пойти, у него не было сил, пошел брат... человек из управления таможни... они тогда сделали «большое дело»... Пропать смотрела в глаза Амиру, а он – словно первый раз увидел ее... ему некогда было ее видеть, он жил, он строил жизнь... годы жизни... королева Беер-Шевы родила ему маленькую принцессу... *папочка, а что такое, что я умру*... нет, это младшая, недавно... как они со старшей похожи... Джип вдруг страшно как бы скакнул вниз, но в последнюю секунду задержался на краю, и Амир вдруг почувствовал, что начинает сползать в переднее окно, в разбитое лобовое стекло.... Пропать обнимала его... он начал упираться ногами, как мог, за что-то хвататься руками... цепляться судорожно, как цеплялась его мать за ручки больничной кровати, поднимаясь на спине, когда после пожеланий, сестры повезли ее в операционную... цеплялась, словно пыталась остановить, не дать забрать ее *туда* – в пропасть, в неизвестность, в сон, после которого можно уже никогда не проснуться... будто это ее последние метры, последние секунды, последнее, что она слышит и видит, и дальше – бездна, и сползая в эту бездну, она цеплялась за ручки кровати, за что могла... тогда он это запомнил, ее движение, его страшный и очевидный смысл отложились в его душе... он даже жуткой боли во рту уже не чувствовал, его обнимала пропасть... его живот, его грудь, а не его разум, чувствовали смысл слова ВСЕ... он собирал на дом... дом... дом был мечтой... королева мечтала о доме... ради него пришлось пойти на то «старое» дело, на котором его подловили недавно, на страшное дело... камера-одиночка в тюрьме «Декель» – молодым адвокатом-стажером он посещал там преступника... бетонный, шершавый сортир около кровати, серо-черные стены. Вонь... затравленный взгляд... если бы дело

¹⁵ Молитва встречи субботы, происходящая в пятницу вечером.

¹⁶ Заповеди иудаизма

¹⁷ «Будущий мир».

¹⁸ Придурок, сумасшедший (арабский)

вскрылось, его ждала бы такая камера... ах, сколько он видел таких взглядов, таких ублюдков, всяких ублюдков... А их руки... сухие, с тонкими слабыми пальцами, жирные, потные... сколько ему довелось пожимать в жизни таких рук, чтобы что-то иметь... пропасть откладывала объятья... ему захотелось вспомнить что-то в своей жизни, что выдержало бы взгляд этой уже совсем потемневшей пропасти, что хоть как-то уняло бы, просветлило ужас перед ней... ему вдруг до привкуса во рту вспомнилось тело жены, когда она была молода... королева Беер-Шевы... такую задницу надо было еще поискать... и вдруг ему представилось, что они на кровати лежат с женой, и тело ее жадное, красивое, вожделенное... только не кровать это, а там, внизу, он лежит рядом с ней, с ее наготой, весь искореженный, так, что узнать нельзя... перед глазами мелькнул дом... он достался таким трудом... ему представилась королева Беер-Шевы, которая сейчас, на залитой светом кухне готовит ужин, включила вечерние новости, скоро наберет его... и она будет там завтра, и завтра вечером она так же включит новости, но его в этом доме, в этом уюте уже никогда не будет... НИКОГДА НЕ БУДЕТ... подумалось: лет пять-шесть, и старшая начнет водить женихов в дом, там, в этом доме будет жизнь, а его там не будет... *не будет его, большие никогда не будет...* он вдруг попытался представить, *что останется от него в том, что будет после него, где он будет там, в чем...* безумно пляшущие, орущие, спирающие дыхание мысли говорили Амиру о том, *что в том, что будет, его нет, не будет ничего, что было бы им, в чем он был бы...* Пропась дышала ему в лицо, глумилась над ним, и не было ничего, что могло бы его защитить... голубые глазенки, которые смотрят на мамочку... Во всем этом ослепляющем, убивающем, повергающем во мрак безумии ума, почему-то не вспомнилось Амиру гневное лицо отца, когда он спросил – папа, а ты боялся когда-нибудь смерти?... То лицо, которое потом убивало мысль о смерти в самом ее начале, когда пропасть только начинала разверзаться в мыслях, когда только подступала к горлу, только спирала дыхание... Перед лицом пропасти, сейчас – когда оно, казалось бы, так спасительно, нужнее всего – лицо отца покинуло Амира, не посетило его в его ужасе и безумии... Пропась торжествовала, буйствовала, глумилась над ним, ждала его, дышала тянущейся с вечернего Кинерета влажной, адской жарой... из какой-то последней глубины, из напоследок промелькнувшего воспоминания о уютном доме, о ужине на светлой кухне под жужжание новостей, еще вдруг всколыхнулась в Амире последняя надежда... он вдруг физически, почти реально ощутил себя *там*, в доме, в безопасности, среди привычных и любимых вещей, а не *здесь*, над темнеющей бездной... он вдруг даже услышал, как о крышу джипа стучат камни и щебень – кто то, значит, пытается спуститься к нему по склону... эта надежда вдруг даже стала для него совершенно реальной, он на какую-то секунду почувствовал ясно, наверняка – *все, ужаса нет, не будет, тебе все привиделось, спасен...* ему представилась больница, где он будет через час, жена с дочерью, приехавшие его навестить... Спасатель, который спускался к джипу Амира что бы посмотреть, что происходит, есть ли живые, сделал роковой шаг, и сорвавшись неверно поставленной ногой, сам чуть покатился и ударился всем весом в крышу джипа... Амир взглянул в лицо пропасти, и она обняла его...

МОЙ ПУТЬ. МЫСЛИ ВРАЧА

Посвящается Михаилу Милявскому..

Смерть выглядит по-разному.

Смерть Саши была фонтаном липкой крови, бьющим из его раскуроченной ноги так, как нехотя, тяжело выливается домашнее вино из маленькой бочки, когда вина уже немного осталось. Я запомнил, когда в молодости татары угощали нас в Крыму, под Судакком. Фонтаном крови, который пульсируя, бил посреди воплей, мата, дыма и перекрученного причудливыми узорами металла, окропляя на глазах превращающийся в вязкую и смрадную грязь песок. Тогда, тридцать лет назад, под небольшим аулом километров в пятидесяти от Кандагара, два советских БТРа подорвались на штатовской мине. Первую машину перевернуло и разворотило страшно, вторая, ехавшая на удалении пятнадцати метров, пострадала меньше. Ее тоже перевернуло, но только повалило на бок, у водителя была тяжелая травма носа и челюсти – от страшного удара от руль – это я сразу увидел, придя в себя и начав вникать в случившееся. Он орал, матерился страшно, прижимал к лицу лоскут разорванной сильно губы, остальные ребята, подавив друг друга при падении БТРа, кажется пострадали не так сильно. Мы начали выбираться, кто-то помог водителю, Леше из Таганрога, выбраться, сквозь пальцы рук, закрывающих его лицо и глушащих его крики и мат, струями обильно текла кровь... дым сильно застилал расстояние до первой машины, а когда я доковылял до нее, в распахнутых створках задней двери увидел Сашу... Он свешивался верхней частью тела из повернутой наискось щели двери, спиной вниз, голова запрокинута, шея и горло вытянуты назад, он судорожно шевелил челюстью, то ли хватал воздух, то ли пытался кричать. Полувзгляда хватало, что бы понять – и то, что он один жив – чудо. Дальше – как учили, «на автомате». Голова, шея – все гудело, звенело, кружилось, тошнота давила, но я подхватил его под плечи, начал тащить, где-то на заднем плане мелькнула то ли мысль, то ли надежда – ничего, братка, все будет в порядке, поживем еще. Когда я сумел протиснуть его сквозь раскоряченную дверь, оттащил на несколько метров, и взглянул, стало понятно – в порядке ничего не будет. Саше оторвало ногу, выше колена, а осколок мины пропорол брюшную полость. Если из культы оторванной ноги кровь пульсировала фонтаном, то из раны на животе, поверх вывороченных тканей и края металла, кровь не била, а как-то просто поднималась и вытекала, как молоко, сбегая у нерадивой хозяйки, вытекает над краями кастрюли. Я действовал четко, автоматически, как учили, сознание мое разделилось как бы на несколько планов – вырвав с пояса ремень, стянул как мог культю, валик из моментально снятой гимнастерки – под Сашину, с выпученными глазами голову, марлей из медпакета прижал разорванные ткани живота, пытаюсь остановить кровь и понять, как прижать так, чтобы не травмировать еще больше огромным осколком. Где-то на третьем плане мелькала мысль, что Саша – покойник, и не выбраться ему, будто вдалеке, через глухоту и гул от контузии, слышалось как старлей, молодой парень, недавно после ярославской учебки, матерясь орал в рацию, сообщая о случившемся и требуя вертушку с медсоставом, для эвакуации раненных... слышал, как орут другие раненные ребята, как кто-то кричит – «да нет, бл... дь, так пережимай, жми крепче», кожа на лице ороговела от брызг крови и насевшей сверху гари от взорванного и горящего БТРа, а первый план был прикован к его лицу... я знал это лицо с пяти лет, с тех пор как помнил себя... на те мои двадцать лет у меня не было на земле человека ближе, родней душой, может, только мама... Саша был не просто другом детства – на те наши с ним двадцать, когда росшие и жившие, учившиеся и прослужившие рядом, мы разделили чуть ли не каждый из совершившихся и оставшихся в памяти дней, он был частью меня, частью, без которой я не представлял своей жизни, как не представляют ее без ног или рук, без родителей или дыхания. На моих глазах его лицо крепкого парня заостряло черты, глаза округ-

лялись, казалось – выпирали из орбит, челюсть, которая сначала тряслась, будто хотела что-то произнести, вдруг съехала в судороге в сторону, сжалась с верхней, кровавая пена начала выливаться между стиснутых челюстей, и хоть я понимал, что его уже здесь нет, я смотрел на его лицо, на вылезающие наружу в предсмертной конвульсии глаза, и мне казалось тогда, что он видит меня, что-то силится сказать мне взглядом... В первой машине тогда погибли все, все восемь бойцов, водитель и радист, только они погибли сразу, а Саше судьба даровала несколько минут страшной агонии... чтобы именно так в первый раз показать мне смерть... Помню, как где-то совсем на периферии потрясенного и работающего как натянутая струна сознания, мелькнула мысль поискать оторванную ногу и как требует инструкция – упаковать в медпакет, сдать медикам на вертушке, когда подойдет...

Смерть Саши была первой смертью, которую я видел, не самой страшной. С тех пор я видел много смертей – на поле боя, в больничной койке, среди привычных домашних вещей, в полном сознании и в безумии агонии. Смерть – которая пахла мочой и калом, гноем пролежней, запахом госпитальной дезинфекции, от которой несло сладким смрадом гниющих от гангрены ран или полевого наркоза. Смерть Саши была для меня страшна тем, чем и до сих пор, невзирая на годы, виденное, привычку, продолжает страшить и потрясать всякая смерть – тем, как в мгновение ока она стирает, сметает человека полного надежд, ожидающего его впереди или уже прожитого, всего, что было им думано, прочувствовано, еще желалось и планировалось... Тогда я ничего не чувствовал – только смотрел и запоминал. Но вечером, в лазарете, в одиночестве перед пахучим холодом, которым тянуло из темного поля, и еще дальше – из блестящих на солнечном пекле, но почти не различимых в темноте рыжих гор, я ощутил смерть как зло, главное зло, ощутил тогда, и продолжаю ощущать сейчас, спустя десятки лет, ощутил на всю жизнь. Тогда ли я ощутил, что должен бороться со смертью?.. Не знаю... факт таков, однако, что борьба за жизнь стала моей дорогой... Многие годы я борюсь со смертью и дарю людям жизнь. Это мой путь.

Смерть отца подарила ему покой и избавление от страшных мук. Несколько лет, при полном сознании и бессилии, он пролежал в кровати с ампутированной рукой и ногой, и ждал, пока рак из третьей стадии перейдет в последнюю и убьет его. Каждый его день был адом, мы были рядом с ним, мы окружали его любовью, мы приводили к нему его бывших студентов и аспирантов, возили его – изувеченного калеку – в оперу, филармонию, на заседания ученого совета, давая почувствовать, что нет для нас более полноценного и достойного человека, чем он... Но нет ничего на этом свете, что могло бы унять муку души и ума, поруганного достоинства человека, который вынужден умирать так... Когда он умер, на его лице не было следов муки или вообще каких-то чувств.. был только один скульптурный, каменный покой...

Тогда я как раз заканчивал третий курс медфака и должен был выбирать специализацию. Я выбрал онкологию.

Мама умирала страшно. Ее смерть выглядела почти детскими слезами и жалобными, полудетскими стонами. Мама всегда была в значительной мере ребенком, всегда боялась смерти, и бездарно растратила жизнь в страхе перед ней. Многие годы, по несколько раз за год, она умирала от очередного атакующего ее рака, а мы, как любящие дети, должны были умирать вместе с ней и спасать ее, таская ее по вредящим ей проверкам, ожидая их результата и радуясь, что опасность на этот раз миновала и час еще не настал... Ее многократные «смерти» стали притчей во языцах и поводом для изощренной иронии детей и всех остальных. Она так достала нас всех, что мы искренне верили – своими страхами и причитаниями она заговорила себя и умрет от чего угодно, но только не от рака. Поэтому когда нам сказали, что у нее рак легкого, с которым уже нечего делать, что ей осталось до полугода, мы не поверили... долго не могли поверить... Мама, бедная мамочка... у нее не было ни сил, ни достоинства умирать... она умерла за три месяца, до последней минуты оставшись в полном сознании... Будто наказывая ее за слабость и бездумность при жизни, судьба отобрала у нее милосердие безумия,

которым иногда благославляет и спасает людей, куда менее достойных, чем моя мать... Она извела нас... Целыми днями она жалобно причитала как ребенок, плача и иногда и вправду как ребенок выпячивая нижнюю губу, смотрела на цветущие кусты перед окнами – на беду, ей выпало умирать весной – описывала их красоту самой себе, и будто прощалась, будто говорила – как хорошо было бы жить и жить, смотреть на них от весны к весне, какие вы счастливые... как же это неправильно, что эти прекрасные цветы будут, а я их уже никогда не увижу... Мамочка моя, мамочка, мой милый ребенок, не заметивший, как навечно прожил жизнь, вечна твоя память.. ты была чиста душой, но в эти длинные и мучительные для нас дни, мне иногда казалось, что в детском трепете перед смертью, тебе кажется несправедливым, что ты умрешь, а мы продолжим жить... Из дня в день она расписывала свои похороны, давала указания как себя повести, жалела себя, смотрела на приближающуюся смерть, прощалась, не щадила ни нас, ни себя, и казалось, что в ней живет какая-то языческая, безумная надежда, ведомая наверное всякому живому существу на этой земле, что если она вдоволь прольет слез, пожалеет себя и помолится, то случится чудо, и судьба минет стороной, и еще много весен и лет подряд она продолжит сидеть по утрам и вечерам у своего окна, дожидаясь детей, любуясь цветами и перемалывая университетские сплетни с посещающими ее студентами и молодыми коллегами... Мне кажется, она не верила до последних минут, пока не схватила меня за руку и не сказала – ой сынок, что-то у меня все плывет-плывет...

Сестру она довела тогда до нервного срыва и увольнения – несколько лет та не могла выйти перед детьми преподавать... я поначалу держался – на виденном, на быющем из Сашиной разорванной ноги фонтане крови, на десятках таких же ног, и лиц, и смертей, которые я видел после... иногда в душе, помимо выжигающего огня сочувствия и страдания вместе с ней, когда я готов был умирать болью прощания вместе с ней и умереть вместо нее, разливалась усталость, безразличная ко всему, и мысль, когда подспудная, а когда откровенная, ясная для меня самого – господи, ну когда же наконец... Как мы, бывает, тяготимся смертью и муками близких, которые мешают нам продолжить влачить ношу собственных жизней, участвовать в карнавале, продолжать катиться в его водовороте к неотвратимому – к такой же смерти, к такой же судьбе, ненужности и опостылости для окружающих, пока еще есть время, пока дана еще фора... бессмысленно просмотрев жизнь как фильм, и бессмысленно подойдя к его концу. Как часто и чудовищно мы не желаем видеть очевидного, даже если оно дышит в лицо, не желаем понять – это нам самим когда-то умирать и отвечать, за то, как мы жили, что сделали и оставили после себя... Как же желаем мы пользоваться жизнью и не знать о том, что над жизнью каждого есть неотвратимый суд, что ничего страшнее нет этого суда, не желаем слышать голос глашатая, который обращается к нам смертью близких... Наверное, еще тогда, после сашиного заостряющегося лица, я понял – я так не могу, не буду так, иначе надо жить, что бы быть готовым, когда придет час... чтобы не дрожать и не плакать от детского бессилия, как мать, не молить выпяченными губами и заклинанием весенних цветов.. что бы победить ужас человеческой судьбы покоем и достоинством. Последний месяц я не выдержал и начал пить, глубокой ночью, когда забывшись от обезболивающих и снотворного, она сопела и похрапывала в пропитанной запахом ее тела и судьбы комнаты, в которой прожила всю жизнь, воспитывала и убаюкивала нас, принимала студентов, состарилась, я сидел над стаканом водки с мысленной мольбой найти в себе силы пройти с ней еще один день, до завтрашней ночи, до ужаса полуночного одиночества, до завтрашнего стакана...

Та смерть, которая сейчас смотрела на меня со снимка компьютерной томографии, выглядела куда менее страшно, чем смерти, которые доводилось мне видеть, даже неприятно, будто юродствуя, лукавя – да и не я это вовсе, ошиблись вы, право... и другого быть может, с уставшим от старости и неотвратимого с ней равнодушия глазом, ей удалось бы обмануть, но не меня... Маленькая точка на снимке левой доли легкого, диаметром не более сантиметра, кажется – мушка на внутренних тканях, причудливая забава природы, безобидная

странность... «гиперденсивный процесс»... Точка, к которой свелась жизнь человека, геометрическая квинтэссенция смерти... Когда я дошел до нее, листая снимки – непроизвольно присобрался, наклонился вперед, навис грудью над столом и уперся лицом в экран, чуть ли не поздоровался мысленно: «ну, здравствуй, давно не виделись»... да нет, расскажи кому-то другому, что это «не ты», что «все хорошо» – ты знаешь, что всякий, кто хоть однажды глядел в твои бесконечные лица, хочет услышать именно это... это ты... и в этот раз ты решила сыграть со мною всерьез, в блиц... Только специалист понимает, что значит тот диагноз, который еще пару минут, и я внесу в компьютер, в дело больного – мелкозернистый рак легкого диаметром около сантиметра, срочная цистология, решение об операции – по результатам. Внесу как подозрение, под знаком вопроса, ничуть не сомневаясь. Конечно, точный диагноз может дать только цистология – до и после операционная, но я видел много таких точек, и знаю точно, что чем безобиднее они кажутся, тем более страшным смыслом обладают. Опухоль развилась менее чем за год, по характеру агрессивна, навряд ли цистология опровергнет мою интуицию – скорее, только уточнит. Да – в этот раз ты подготовилась, решила сыграть серьезно, у тебя на руках тузы, а в рукаве, на всякий случай – пара убойных, крапленых черным карт. В этот раз ты не дашь себя победить. Не дашь испытать ту радость, нравственную сладость победы, то торжество души и духа, которые дарит чистый снимок легкого через пять лет после встречи с тобой, вот с такой точкой... Но подожди, не торопись... не хорохорься так уж беззаботно и уверенно – мы еще поборемся... я сыграю с тобой партию, которую суждено скорее всего проиграть, я сумею помучить тебя и потянуть время... Я посмотрел на сидящего передо мной улыбчивого человека лет за пятьдесят, пришедшего на прием с женой... дорогой костюм, ладный вид, зажиточность, карьера, самый расцвет заслуженного, заработанного нелегким трудом и бог еще знает чем праздника жизни, жить бы и жить, наконец использовать жизнь как должно, со вкусом, с размахом, которому наверняка завидуют многие... но вот – незадача... он еще не знает об этой «незадаче», маленькой и невзрачной точке, которая через пару минут переменит его жизнь, на его лице трудно прочесть даже какую-то тень беспокойности – он всего лишь проходит ежегодное, положенное в его возрасте обследование... его визит ко мне – проходная вещь, вечером наверняка куча дел и встреч, и месяца через три он наверняка планирует ехать отдохнуть за границу... я осторожно всматриваюсь ему в глаза – он даже не подозревает, чем станет для него эта встреча со мной, что ждет его в ближайшие три месяца... он даже не знает, что судьба через две минуты явственно докажет ему – она распоряжается нами по своему, а не по нашему усмотрению... конечно, это еще не конец... лукавящая, маленькая точка смерти, будто и не смерть вовсе, страшнее всякого ножа или яда, убьет его, выживших в его случае менее пяти процентов, судьба не пощадила его, подарив самое страшное из зол, которые могли упасть на его голову в моем кабинете онколога-легочника. Да, я сделаю ему операцию. Учитывая характер опухоли, точка только кажется маленькой, на деле же – она огромна, ее размер – размер его жизни. Но она сидит в том участке легкого, который позволяет отнять много, сделать резекцию глубокую и широкую... он очень помучается после операции, может – даже станет инвалидом, с до конца дней нарушенной функцией легких... но это подарит ему еще года полтора-два, пока эта точка вернется множеством, множеством таких точек, больших и малых, по всему легкому, после – по всему телу, вторгнется в него что бы убить окончательно... потом – как пойдет, еще полгода, не более... не знаю, есть ли у него шансы встретиться со мной через отведенные судьбой для испытаний пять лет... Полтора года, два года... Я смотрю на безмятежное, чуть грубоватое от прожитой жизни, не скрывающее страстей лицо... нужны ли они ему, эти полтора года, и два, и пять, оценит ли он их, как проживет? Сумеет ли прожить так, как не жил наверное всю его жизнь – не разбазарив, а «начисто», раз и навсегда, оценив дар жизни? Навряд ли... прожитая им жизнь – нужна ли она была ему, понимал ли он, что вообще значит, что он живет, что значит жизнь, которая уходила у него на рулетке разнообразных страстей? Та жизнь, капли которой я ему подарю,

даже если случится чудо и мне удастся спасти его – она будет для него лишь отсрочкой приговора, отдалением неотвратимого, он просто продолжит использовать то, что осталось и подарено чудом... Продолжит жить, как жил, будто ничего не знает, будто ничего не случилось, будто не стала для него очевидной неотвратимость, и оставшаяся перед ней жизнь ничего не значит... Перед тем, как бездна и мука заберут его, попытается успеть увидеть то в раздале-ких далях, куда еще не успел добраться, слово пьяница, сползающий с пиршественного стола в пропасть, в несколько оставшихся мгновений попытается запихнуть и влить в глотку все, что сможет успеть. Плевать ему на пропасть, плевать им на пропасть... «мы все равно будем веселиться и делать жизнь, хорошо, что она еще есть» – именно это я часто вижу на лицах людей, которые уходят от меня с надеждой.. Будто безразлична им бездна, которая дохнула в лицо, будто ничто не способно заставить их думать и нести ответственность, помешать им использовать жизнь... Мне редко доводилось встречать людей, которые поменяли что-то в той жизни, которую я возвращал им... Большинство продолжали жить, как жили, так же бездарно использовать дар, ценность которого были не способны понять, радуясь, что отпущено еще немного времени перед *тем*, перед неотвратимо грядущим, что все равно *будет*, для безза-ботного и бездумного веселья над бездной... А может, я как всегда жесток и не прав – капли жизни всегда нужны, жизнь есть жизнь – и перед темнотой бездны понимаешь это как нико-гда... как правило – слишком поздно... Так моя мать – всю жизнь знала о смерти, всю жизнь ее боялась, и бесследно тратила жизнь в движении к неотвратимости... О, если бы люди могли чуть пораньше увидеть то, что неотвратимо ждет их в моем кабинете, в сотнях таких же каби-нетов... Жили бы они так, как живут, могли бы так жить, разменивали бы капли дара жизни на то, на что меняют привычно? Или попробовали, рискнули бы жить иначе, хоть попыта-лись бы жить *иначе*? Быть может, в водовороте привычно растрчиваемых судеб и жизней, вдруг мелькали бы тут и там искры подлинных стремлений и дел, и дерзким притязанием, трудом и талантом человек попытался бы оспорить власть времени и смерти, того, что неот-вратимо – сознавай, или же прячь глаза... Он смотрит мне в глаза, и от остроты моего взгляда наверное тянет чем-то нелегким, чреватым неожиданностями, и на какое-то мгновение безза-ботность покидает его лицо, он, кажется, начинает задумываться, что может значить его при-сутствие здесь, предо мной, что может из этого выйти... Конечно, я скажу ему... я скажу ему прямо, он должен знать, ясно, без иллюзий – этого требует закон, и этого требует совесть. Для того, что бы быть человеком, человек должен жить с открытыми глазами, знать о судьбе, в тра-гизме этого знания нести ответственность... Человек должен знать, потому что человек дол-жен быть ответственен за собственную жизнь и собственную судьбу... и даже если он не был ответственен за жизнь, которую он провел до визита ко мне, то уж за ту, которая осталась после визита и до конца... Я поборюсь за эту, кажется, бессмысленную, никчемную жизнь, пошлостью и бездумностью обреченную бесследно исчезнуть... я сделаю то, что должен, то, что могу, что умею... хорошо умею, то, чему я учился многие годы, много после прощания с дверьми университета и докторантуры... то, что я так хотел мочь... чтобы иногда испытывать удовлетворение и хоть немного уменьшать разрыв в счете, открывшемся многие и многие годы назад, кажется – в другой жизни... я скажу ему и об этом... я отдам месяц своей жизни, чтобы побороться за несколько лет его... поймет ли он, что ему подарено, сможет ли сделать то, что не успел за многие годы до этого? Пусть это будет на его совести. Мой путь – бороться со смер-тью, дарить жизнь, с иступленным упорством фанатика, тайно загибающего пальцы в память о нечастых удачах, пытаться закрыть счет, который не возможно закрыть силами человека... Конечно, я знаю, что будет... Ему трудно будет понять, что все его планы отменены маленькой, чуть более светлой, чем все вокруг, точкой на снимке, что теперь в его жизни будет совсем другой план и порядок, и определять его будут эта кажущаяся мушкой точка и я, вступивший с ней в борьбу... он поймет еще не скоро... Как много я видел таких, десятилетиями несомых на крыльях обывательского и бездумного оптимизма, а когда приходит миг – даже не способ-

ных понять, что означает этот миг, что означала прожитая, пройденная, исчезнувшая жизнь, какие испытания и какой быть может уродливый, унижительный конец ждет впереди... Я грешен... врач не имеет права быть судьей пациента, а я часто чувствую, что я их судья... и тот адвокат, который делает все и вылезает из кожи вон, что бы спасти их от осуждения и приговора... Мы будем бороться вместе, обещаю тебе и сейчас скажу тебе об этом... и кто знает...

Да, я часто, с некоторым ужасом чувствую себя судьей... Ко мне, из самых разных судеб и ситуаций приходят самые разные люди, и их судьбой становлюсь я, их судьбой становится жаждущая их и требующая жертвоприношения смерть, с которой я вступаю в борьбу, потому что когда-то давно, без их ведома, открыл с ней счет. Как часто мне кажется, что люди, которым я отвоевываю годы жизни, а иногда – и совсем возвращаю ее, не понимают, что значит тот дар, который я трепетно возвращаю в их нерадивые руки... как не понимали этого перед тем, как пришли ко мне... Как часто, когда я смотрю на страсти, владеющие людьми вокруг меня, на которые они тратят жизнь, я думаю, с ужасом открываю для себя, что их жизнь ничего для них не стоит, ничего не значит... Как безумно они втаптывают в грязь повседневных страстей и иллюзий данный им кем-то дар, даже не подозревая, чем может быть этот дар... Кто-то может прожить жизнь, что-то оставив навек – мощь звуков, глубину смысла, проступающего в поэтических строках, тайну линий, спасающую от мук и смерти формулу... кто-то, как я – может спасти многие сотни и тысячи жизней, в которых может, должно случиться все это, и как часто, провожая «своих» последним взглядом в возвращенную им жизнь, я не то что желаю им – мысленно требую, требую от них этого... Кто-то может прожить жизнь, безразлично исчезнувшую в нужде или страстях, оставив после себя кучу фотографий, груды использованных вещей и толпу наследников, алчущих оставшихся после них благ... Бесконечен человек, все может, ничтожен и велик, червь и бог, вопрос в том, чем он решается быть.... Как часто те, кому я дарю возможность жить, оскверняют, кажется мне, тот дар жизни, который я им вернул, часто я с ужасом думаю – не стоят его... я это делаю ради того в них, что они быть может и не знают в себе, ради того, чем они могут и должны быть, ибо люди, созданы людьми... я эгоист, и мне поздно меняться, прожив большую часть жизни – я делаю это только ради самого себя... ради того счета, который давно открылся со смертью Саши... куда вписан упокоившийся отец... куда вписана мать, с ее детскими и бессильными перед лицом судьбы слезами... куда вписаны многие десятки тех, близких и далеких, которые умирали перед моими глазами – на больничной койке, под колесами машин, в ужасе домашней тишины... куда вписаны те огромные, настоящие люди, которых смерть, праздная победу, как былинку стирала в несколько мгновений, когда рядом с ними не было такого, как я... будто вся мощь их духа, все величие пройденного ими пути – ничто... я делаю это ради них – чтобы они успели победить смерть – тем, как жили, что сделали, на что решились... Мой путь – горький путь... часто я отсрочиваю людям их приговор только для того, что бы они вернулись к привычному празднику будней, не желая знать, не желая помнить, продолжая безразлично ожидать приговора и использовать жизнь... как будто не открылась им муками и испытаниями неотвратимая судьба, не заставила осознать и решиться... чудом получив отсрочку приговора из рук судьбы, они продолжают жить, как жили, радуясь возможности повременить еще немного перед тем, что все равно настигнет... но я делаю это, это мой путь... Потому что дело моей жизни – побеждать смерть, дарить и возвращать жизнь... что бы вы ценили ее, люди.... Чтобы вы могли победить смерть – жизнью, трудом и любовью, деяниями рук своих... что бы от прожитых вами жизней хоть что-то осталось... Начало формы

Конец формы

ПОДИ ЗНАЙ...

В огромной, пустой квартире, в которой жила одна, на первом этаже дома, выстроенного в те уже легендарные времена, которые сегодня кто-то не устает проклинать, а кто-то – возносить и боготворить, умирала старуха Дударчиха. Тяжело умирала, уж две недели умирала – а все никак, не отпускала ее жизнь, не могла забрать смерть.

Крепка была старуха, плотна телом, взглядом и нравом – тяжела, властна, на эмоции – скупа, отчего сила ее казалась еще большею, и почтение вызывала большее. Муж ее умер рано, и тут – хочешь, не хочешь – а характером отяжелеешь, учась жизнь и судьбу держать в кулаке. Было ей лет за семьдесят далеко, а может – и под восемьдесят, точно никто не знал. Зла она не была, но улыбалась редко, всегда нося на лице словно бы маску суровости и осуждения. Крика от нее редко кто слышал, да ей и не надо было кричать – взглянет, когда надо, пристально, тяжело, и у человека – невольное уважение просыпается... Бывало, но редко, скажет кому-то что-то одобрительно, и тогда – чуть улыбнется уголком рта, а похваленному – будто орден вручили. Бывало, кого-то подстегнет едко, весомым словом, и всегда – на месте слово, и по делу, но никто не обижается, принимает как должное, как справедливый подзатыльник от того, кто право имеет им огреть. Соседи Дударчиху не то что бы не любили – как не проникнешься теплом к тому, с кем всю жизнь бок о бок прожил – но почтительно побаивались... Жила она замкнуто, не то что бы не любила впускать в дом людей, а просто редко пускала, когда же пускала – на большие праздники, на день поминок мужа, то шли радостно, как на значимое событие. Угощала всегда уважительно к гостям – от души, через край, и тут уж у всякого сомнения в отношении к человеку развеются: что о человеке не говори и не думай, а по хлебу и соли всегда все видно, хорош человек или плох, по тому, как впустит людей в дом, и как из дому проводит. Короче – принимали старую Дударчиху такой, как она есть, была она давней частью всеобщей, домовой жизни, перед ее окнами росли и выросли дети, потом росли их дети, и была Дударчиха странной немного, но неотъемлемой частью этого круговорота жизни, а потому – вызывала тепло. Как правило, стремились соседи первыми с ней здороваться и первыми спросить «как самочувствие», радуясь, когда эта суровая, почтенная баба вдруг улыбнется и скажет что-то теплое немногими, весомыми словами, были и такие, которые совсем заискивали перед ней, лебезили... на таких она поглядывала саркастически, словно в самое нутро смотря, но – не обижала.. К мнению ее прислушивались... Когда становилось кому-то из соседей худо – кто заболел тяжело, у кого ребенок в беду попал – собирала Дударчиха соседей, говорила – бабы, надо помочь, денег собрать там или еще что, и ни у кого слова ее не вызывали сомнений... Иногда даже рады были соседи, что эта баба с ее тяжелым взглядом и словом, им про святое напомним...

Была Дударчиха одинока, как уже сказано. Были среди соседей и такие, которые помнили ее покойного мужа, была и пара таких, кто знали тайное – что не умер он, упав зимой и ударив голову о крыльцо своего подъезда, как всем всегда говорилось, а повесился в этом самом подъезде, в подвале, по утрам... Но об этом – упаси боже, хоть слово, хоть намек, и в голову никому не приходило... Как уже давно никто не решался спрашивать Дударчиху о сыне, который лет пятнадцать назад в один день – пропал... пропал да и все... Поначалу, по прошествии какого то времени, стали соседи спрашивать – как да что, как там Сашенька, где... старуха сразу разговор переводила, сжимала челюсти и смотрела сурово в сторону, давая понять, что не надо с ней говорить об этом... и скоро перестали спрашивать, чувствуя, что случилось что-то недоброе, что спрашивают о больном...

Так и жила Дударчиха годами, день за днем, год за годом, привычной дорогой, и почти всегда – в одно время, проходя на работу, а с нее – домой, а как на пенсию вышла – в магазин да на рынок... в один час зажигался возле окон ее гостиной телевизор, звучали новости,

почтовый ящик ее ломился от газет и журналов, и когда хотели соседи спросить про что-то наболевшее, сегодняшнее – про политику ли, про «новое время» – спрашивали Дударчиху в первую очередь, и получали суждения умные, хлесткие. Прочно так жила, основательно, порядочно. По осени, хоть и жила одиноко, но по привычке заводила соленья, тогда вся квартира ее наполнялась душистым паром, пробивавшимся и во двор, и всегда доставалось соседям по баночке. Когда наступили эти самые «новые времена», и квартиры в старом доме начали раскупать «новые люди», те, кто при деньгах, к старухе, которая свою четырехкомнатную квартиру сохранила от всех выгодных предложений продать, они сохранили всеобщее уважение, и на людях оказывали ей, в отличие от остальных соседей-пенсионеров, очевидное почтение. И никто не удивлялся.

Помирать начала внезапно, неожиданно для всех, потому как хоть и горбили ее годы, а все же твердая ее походка, тяжелый шаг, ясный ум, во всех вселяли ощущение, что есть еще у Дударчихи время на этой земле, и как не тяжелы времена, а старую породу – поди, сломай.

Как то в ночь вдруг разразился ночной двор и дом стенаниями, начала она метаться по залитой огнями квартире, хлопать окнами и дверьми, каждый свой выдох обращая в крик, впала в беспамятство... Наутро соседи стали шушукаться, подходить к двери, слушать – что там... слышно было, как мечется Дударчиха беспокойно по «хоромам», стонет часто, что-то шепчет, а связно или бессвязно – не разобрать... потом к вечеру вроде как все стихло, и в душах у соседей успокоилось – мало ли... А потом через ночь – все то же самое, и дальше – только хуже... Стучат соседи – не открывает. Вызвали как то под вечер слесаря, он вскрыл дверь, потому как кричала старая уже так, что слушать и проходить мимо спокойно было нельзя. Соседи зашли, и нашли ее в кровати, всю в моче и кале, несколько дней не встававшую, кричащую и задыхающуюся с хрипом, почти никого не узнающую. Тут только и выяснилось, что любили, ценили ее... Бабы как могли обтерли ее, ополоснули под душем на стуле. Переодели в чистое, всхлипывая, стали сидеть возле нее, кто сколько может, чтоб к вещам каким кто в доме притронулся – ни-ни... А что делать-то? Вызвали врача, тот – сердце слабое, отекала, кислорода не хватает.. Ему – помрет? А он – ну, а вы что хотите... Так прошло дней пять... Кто поесть сготовит, кто покормит... а на утро – встала Дударчиха с постели сама, вдруг окрепшая, проснулась раньше соседок, что ее сторожили, с привычным своим тяжелым лицом, но тепло, искренне, всех поблагодарила, узнав, прошлась по квартире сама... Бабы на нее со слезами, с пожеланиями, как на родную, а она всех аккуратно выставила, поблагодарив, по домам... На следующее утро даже прошлась в магазин сама, правдо слабо, часто присаживаясь отдыхать на скамейку... и засудачили соседи, показалось им, что слава богу – оклемалась старая и час ее еще не пришел... А через пару ночей все снова повторилось – начала метаться по квартире, кричать и стенать, ослабла и слегла в постель, снова впав в полубеспамятство, пролежала так несколько дней... Соседи поначалу снова бросились ходить, ну, а потом что – у всех своя жизнь, свои семьи, свои дети и внуки, свои боли в голове и спине, давление по утрам и по вечерам, что тут сделаешь, плетью обуха не перебьешь, каждому суждено то, что суждено... Пару раз заглянули даже те из соседей, кто из «крутых», «с деньгами», съездили, привезли каких-то лекарств... но кто ей будет давать эти лекарства, вонючей старухе на кровати, да в беспамятстве... Так и прошла еще неделя – лежит Дударчиха в огромной и пустой квартире, кричит что-то, стонет дни и ночи напролет, так, что сердце рвется... соседи судачат, стоят под окнами. Заходят, посидят возле нее, пить подадут. Но всего ведь не высидишь... Потом вдруг чуть оклемается, успокоится... встанет, пройдет по квартире, что-то покашеварит себе на кухне, а потом – снова... Кто-то – сына, говорит, надо найти – да где его найдешь, его уж и как выглядел то все забыли... Позвонили в больницу, там – одинокая? Да. Сразу трубку кладут – платить и ухаживать, значит, некому... Позвонили в социальные службы, в «собес», как раньше это называлось, а теперь – черт разберет как... Оттуда пришли. Посмотрели, застав ее в несколько «хороших» часов... Сказали – забрать ее к нам можно, да только у нас хуже, пусть уж у себя

дома помирает, на своей постели, так все же лучше... Посоветовали «посматривать»... слова – словами, а все то же: одинокая, платить за нее некому... кому нынче одинокая старуха нужна... да и когда нужна то была... Недели через полторы, когда уже понесся слух, что помирает старуха, всему кварталу известная, стали вдруг появляться молодые люди с борсетками, одетые хорошо, и осторожно интересоваться у соседей – что мол и как, если кто из близких, наследники... И всем стало понятно – на квартиру «сталинскую», роскошную зарятся... Ну и отшили их грубо, жестко, сказали – дайте хоть помереть человеку, потом налетайте, пошли отсюда...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.